

ДЖОНАТАН
РАУШ

“ позволять людям совершать ошибки —
это риск, не позволять — еще больший риск,
потому что тогда в “ошибку” превращается
все, что неугодно властям.

ДОБРЫЕ

ИНКВИЗИТОРЫ

ВЛАСТЬ

ПРОТИВ

СВОБОДЫ

МЫСЛИ

CoRpus

Джонатан Рауш

Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54081250

Добрые инквизиторы. Власть против свободы мысли: Издательство

АСТ: CORPUS; М.; 2020

ISBN 978-5-17-098941-6

Аннотация

Либеральная наука стала самым эффективным способом изучения мира, изобретенным человеком. Благодаря строгой этике науке удалось упорядочить процесс накопления и проверки знаний.

Одна из серьезных угроз научному поиску – авторитарные режимы, которые транслируют свое понимание истины и подавляют любое несогласие. Но и общественный мейнстрим ополчился на верховенство науки. Борьба с ранящими словами, задеты чувства “профессиональных оскорбляющихся”, диктат меньшинств, буквально понимаемое человеколюбие – это мощные силы новой реальности, претендующие на власть и влияние.

Однако необходимо помнить, что “создавать знание больно – по той же причине, по которой это бывает так захватывающе.

Знание не достается нам бесплатно, мы должны за него страдать”. Только защитив свободную науку от этих угроз, можно рассчитывать на дальнейшее развитие мысли.

Содержание

От переводчика	6
Глава 1	12
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Джонатан Рауш

Добрые инквизиторы.

Власть против свободы мысли

*Памяти Фрэнка Каmeni (1925–2011), который
никогда не боялся никого поправлять*

*Этот первый и в каком-то смысле
единственный закон разума, чтобы узнать
который, вы должны действительно хотеть его
узнать и в таковом желании не удовлетворяться
тем, к чему на данный момент склоняются ваши
мысли, дает себя в заключении, которое само по
себе заслуживает быть записанным на каждой
стене города философии: не создавай препятствий
на пути исследования.*

Чарльз Сандерс Пирс

© Jonathan Rauch, 1993, 2003

Originally published as a Cato Institute Book

© К. Назаретян, перевод на русский язык, 2020

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет,
2020

© ООО “Издательство АСТ”, 2020

Издательство CORPUS ®

От переводчика

Я пишу эти строки в довольно напряженное для свободы слова в России время. 7 марта 2019 года Госдума приняла закон о запрете публикаций, содержащих в себе “неуважение к власти”. В следующем месяце, 16 апреля, – закон о “суверенном интернете”, который при желании позволит изолировать страну от всего мира. Трудно поверить, но это действительно происходит и, похоже, не вызывает у большинства людей серьезных переживаний. Вот почему мне кажется таким важным, что на русском языке выходит книга Джонатана Рауша “Добрые инквизиторы”.

Речь в ней, правда, идет не о внешних ограничениях, а о внутренних – тех, которые мы по разным причинам накладываем на себя сами. Американский журналист Рауш пишет о старых и новых угрозах свободомыслию: со стороны фундаментализма, эгалитаризма и гуманизма. И хотя история отношений со свободой слова в США и России очень разная, проблемы уходят корнями в общую человеческую психологию. Чтобы их разрешить, автор напоминает несколько забытый ответ на всегда актуальный вопрос: зачем свобода слова нужна нам в принципе?

Книга Рауша попала мне в руки в начале 2010-х, когда я писала кандидатскую диссертацию о журналистской этике. Уже отгремели скандалы с датской газетой *Jyllands-Posten*, опубликовавшей карикатуры на пророка Мухаммеда; не за горами был расстрел радикальными исламистами редакции французского сатирического журнала *Charlie Hebdo*. И в воздухе уже как будто висело неодобрение в адрес “распоясавшихся журналистов”. В разговорах с людьми становилось понятно, что мало кто считает свободу слова ценностью. Вопросы вроде “Зачем провоцировать?” ставили в тупик. А принятому вскоре в России закону об оскорблении чувств верующих многие были только рады.

К тому времени я уже несколько лет работала в СМИ и успела сделать два огорчительных наблюдения. Во-первых, практикующие журналисты в России довольно редко ориентируются на теорию журналистской этики, поэтому уровень публикаций чаще всего зависит от общих моральных принципов конкретного журналиста или его главного редактора. Во-вторых, за пределами профессии люди склонны считать, что журналистская этика подразумевает главным образом самоограничения и запреты – будто бы журналист тем этичнее, чем больше он себе запрещает.

Надо ли говорить, что зарубежные книги по теории жур-

налистики, которые я тогда читала, рисовали совсем другой идеал информационного устройства общества. И настойчиво подсказывали, что эти две проблемы взаимосвязаны. Ведь люди хотят, чтобы журналисты побольше себя ограничивали, так как боятся, что они своими действиями навредят обществу. А происходит это потому, что в журналистской профессии, родившейся в нашей стране фактически только после распада Советского Союза, все еще не сложилось четких моральных стандартов, которые были бы понятны всем.

Отсюда следует простая, но не вполне очевидная мысль: правила журналистской этики существуют вовсе не для того, чтобы повысить уровень общественной духовности, а затем, чтобы расширить журналистскую свободу. Журналистская этика устанавливает правила и ограничения внутри профессии в попытках избежать давления извне. Именно свобода информации – конечная цель профессионального саморегулирования, и она же – одна из основных моральных ценностей в журналистике. На этом и делает акцент Рауш: свобода слова – это *моральная* ценность.

В чем ее моральность, автор очень хорошо показывает на протяжении всей книги. Развитие знания, говорит он, наиболее эффективно происходит в обществах с либеральной интеллектуальной системой. Как и другие либеральные системы, она имеет возможность “краудфандить” ценное (в данном случае – ценные идеи) и естественным образом выбраковывать ненужное. Так же (путем отбора наиболее удачных

моральных идей) развивается и моральное знание, прогресс которого мы можем наблюдать в течение последних столетий. Любые попытки ограничить свободу мысли уменьшают шансы на то, что ценная идея, в том числе моральная, будет услышана или вообще родится. А искоренять предубеждения силой центральной власти значит просто насаждать те предубеждения, которые близки этой власти. Стало быть, для более счастливой жизни всех членов общества свободу мысли и слова лучше никак не ограничивать.

Почти все это мы слышали со времен Мильтона, но Рауш вплетает в старую канву новые детали и аргументы. Он предлагает термин “либеральная наука”, чтобы показать, как научный образ мысли помог выстроить самую эффективную на сегодняшний день систему сортировки информации (систему, позволяющую отличать истину от заблуждения). А дальше популярно объясняет, почему появившиеся на рубеже веков такие позитивные во многих отношениях социальные явления, как политкорректность, уважение к меньшинствам и стремление минимизировать психологический ущерб, могут при не удачном раскладе положить этой системе конец.

Либертарианская и утилитаристская логика Рауша может быть не близка, но она невероятно завораживает. Иногда у автора хочется спросить, не сошел ли он с ума. Иногда возникает желание поморщиться: “Ну зачем он так?” Сидящий в глубине души поборник человеколюбия то и дело поднабивает: “С такими друзьями и враги не нужны”. Но в конце,

несмотря на все локальные несогласия, вдруг начинаешь понимать, что ни добрых, ни злых инквизиторов вокруг себя терпеть больше не хочется. Их было слишком много. Хватит.

И тут сами собой формулируются ответы на вопросы, которые раньше в разговорах с людьми приводили в замешательство. Почему свободный журналист – лучше, чем скованный миллионом внешних обязательств. Почему разумная мера оскорблений – это нормально. Почему информационные споры лучше решать не в суде, а в органе профессионального саморегулирования (напомню, что в России это – Общественная коллегия по жалобам на прессу). Почему, в конце концов, это почти никогда не дело правительства – решать, какие мысли можно произносить вслух, а какие нет.

И последнее. В России на наших глазах происходит потрясающий процесс – борьба меньшинств и исторически ущемляемых групп за свои права. Ярче всех, на мой взгляд, выступают феминистки. В своих блогах и телеграм-каналах они делают очень важное дело, меняя устоявшийся взгляд на вещи. Но в пылу схватки – и это банальность, но ее стоит повторить – угнетенные нередко становятся угнетателями. Они превращаются в яростных цензоров, готовых загрызть своих идейных оппонентов. Я очень надеюсь, что активисты самого разного толка тоже прочтут эту книгу и вместе со всеми нами – консерваторами и либералами, патриотами и космополитами, журналистами и пропагандистами, гуманистами, ксенофобами, гомофобами и женоненавистниками – пере-

станут призывать к линчеванию тех, кто с ними не согласен.

***Карина Назаретян**, кандидат философских наук, эксперт
Общественной коллегии по жалобам на прессу, апрель 2019
года*

Глава 1

Новые угрозы для свободы слова

В 1990 году Национальное собрание Франции приняло несколько новых законов, которые ужесточали существовавшие в то время меры против расизма. Это произошло на фоне общественных волнений из-за разорения во Франции еврейских могил. Французские газеты были взбудоражены деятельностью правых экстремистов и возрождением антисемитизма в Европе и Советском Союзе. Поэтому новое законодательство никого не удивило. Но было что-то подозрительное в том, как мало внимания обратили на это событие – как будто его и обсуждать особенно не стоило. В газетах писали примерно так: “Новые меры запрещают ревизионизм – распространенную среди правых экстремистов тенденцию ставить под сомнение факт холокоста во время Второй мировой войны”.

Некоторые слова навевают смутные воспоминания: меры, которые “запрещают... ставить под сомнение”. Где-то мы это уже слышали.

Само по себе принятие такого закона во Франции – это любопытный и слегка тревожный эпизод, но не более того. Намерения были наилучшими. В реальности многие (вероятно, большинство) из тех, кто отрицает холокост, – ярые

антисемиты и действуют по злему умыслу; то, что холокост *происходил*, доказано. Поэтому что тут обсуждать. Все и так понятно.

Но нет. Действия французских властей нельзя рассматривать изолированно. Они – часть более общей картины.

В Австралии в Новом Южном Уэльсе парламент в 1989 году внес поправку в Антидискриминационный акт, согласно которой запрещались публичные расистские высказывания. Так как большинство людей не поддерживают подобных высказываний, они одобрили намерения законодателей. Но сам механизм действия этой поправки энтузиазма не вселяет: “Закон дает Антидискриминационному комитету право решать, является ли сообщение «честным», дискуссия – «осмысленной», «ведущейся с наилучшими намерениями» и «в интересах общества». Комитет будет высказываться относительно приемлемости способов художественного самовыражения, содержания исследовательских работ, научных споров и научных вопросов. За нечестный (то есть неточный) репортаж об общественных событиях репортеру и издателю может грозить штраф в размере до 40 тысяч долларов”¹.

В Австрии можно попасть в тюрьму за отрицание существования нацистских газовых камер. В 1992 году правительство, пытаясь конкретизировать, в чем именно заключается преступление, предложило такую формулировку: нельзя “отрицать, сильно преуменьшать, хвалить или оправды-

вать в печати, на радио или с помощью других СМИ геноцид, организованный национал-социалистами, или любые другие преступления национал-социалистов”². В Дании национальные законы о гражданских правах запрещают “угрожать”, “оскорблять или унижать” людей в публичном пространстве в связи с их расовой, религиозной, этнической принадлежностью или сексуальной ориентацией. Когда женщина написала в газету несколько писем, назвав национальный закон о гей-браках “безнравственным”, а гомосексуальность – “самым отвратительным видом прелюбодеяния”, она и редактор, который это опубликовал, рисковали попасть под суд³. В Великобритании закон о расовых отношениях запрещает словесное выражение расовой ненависти “не только тогда, когда оно с большой вероятностью может привести к насилию, но и в целом – на основании того, что представителей национальных меньшинств необходимо защищать от нападок в связи с их расой”⁴.

Канадский ученый-психолог Жан-Филипп Раштон в 1989 году представил исследование, в котором проанализировал три основные расовые группы и выдвинул гипотезу, что в репродуктивном поведении негроидов преобладает высокая рождаемость, азиаты склонны усиленно ухаживать за своим потомством, а белые находятся где-то посередине. Ученого затравили в прессе, на телевидении его в лицо называли неонацистом, а его аспирантам порекомендовали подпис-

кать себе другого научного руководителя. Но и это еще не все. Полиция Онтарио инициировала полугодовое расследование деятельности Раштона в соответствии с канадским законодательством о языке вражды. Полицейские допрашивали его коллег, требовали аудио- и видеозаписи обсуждений, в которых он принимал участие, его выступлений в СМИ и так далее. “Полиция Онтарио официально изучала вопрос о том, могут ли Раштону грозить два года тюрьмы за «использование спорных исходных данных»”⁵.

То же самое происходит во Франции, в Австралии, Австрии, Канаде и Соединенных Штатах. Правда, в Штатах есть одно существенное отличие. Конституция США затрудняет регулирование неоднозначных высказываний. Государство не так уж много может сделать для того, чтобы пресечь оскорбительные комментарии или неприятную для кого-то критику. Поэтому в Америке движение против публичных оскорблений всегда разворачивалось скорее в плоскости морали, чем в плоскости права, и тон здесь задавали неправительственные организации, особенно колледжи и университеты. По всей стране в университетах принимали правила, защищавшие права меньшинств, и устанавливались наказания за их ущемление. Студентам и сотрудникам запрещается “словами или другими способами выражения” “оскорблять или стигматизировать человека или небольшую группу лиц на основании их половой или расовой принадлежности, физических особенностей, вероисповедания, сексуальной ори-

ентации, национальности или этноса”⁶. Это цитата из правил Стэнфорда, принятых в 1990 году; их можно считать более или менее показательными.

Подобные правила активно насаждаются. Один случай стал особенно известен, так как послужил поводом для иска в федеральный суд, в результате которого правило отменили. В Мичиганском университете студент во время дискуссии сказал, что считает гомосексуальность болезнью, требующей лечения. Существует масса свидетельств того, что гипотеза этого студента ошибочна, а представители американского гей-сообщества обоих полов могут рассказать, сколько вреда она принесла за долгие годы. Но в Мичигане не ограничились тем, чтобы просто опровергнуть аргументы студента или проигнорировать его слова. Его вызвали на официальное дисциплинарное слушание за нарушение университетских правил, запрещающих высказывания, которые “делают людей жертвами” на основании их сексуальной ориентации⁷.

Тревожно не то, что такие вещи случаются, но то, что они теперь случаются постоянно и истеблишмент часто это поддерживает. Событие в Мичигане – просто одно из многих. В 1990 году в Южном методистском университете “несколько студентов – пятеро белых и один чернокожий – доложили администрации вуза, что во время ночной беседы в общежитии первокурсник обозвал [Мартина Лютера] Кинга коммунистом и спел песню *We Shall Overcome* в саркастиче-

ской манере”⁸. Судебная коллегия университета приговорила провинившегося первокурсника к тридцати часам общественных работ в организациях, занимающихся проблемами меньшинств.

Такие случаи – во всяком случае, вне кампуса – неоднозначны и вызывают гневную реакцию у борцов за гражданские свободы. Вместе с тем и французский, и австралийский, и мичиганский инциденты затрагивают более широкую проблематику, чем просто свободы граждан. В качестве социальной нормы устанавливается очень опасный принцип: нельзя ранить людей словами. Этот принцип несет в себе угрозу – и не только гражданским свободам. По сути, он угрожает свободе исследования, то есть самой науке.

Если это утверждение кажется вам алармистским, я не буду с этим спорить, но прошу все же не откладывать книгу. А еще попрошу вас запомнить вот что: в языке есть слово, которым обозначается право трибуналов – неважно, общественных или частных, но в любом случае уважаемых и могущественных – обнаруживать ошибочные и общественно опасные мнения и наказывать за них. Это слово применимо в том числе и к системе, в которой на студента университета доносят за сказанную в ночной беседе некорректную и обидную фразу, после чего его вызывают на специальные слушания и наказывают. Это слово многие годы почти не использовалось. Это слово – инквизиция.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена либеральной общественной системе, которая позволяет отделить истину от заблуждения. Я бы сказал, что это наша лучшая и самая успешная политическая система. Книга посвящена и политическим врагам этой системы. Не только давним врагам – старозаветным поклонникам авторитаризма, но и новым – эгалитаристам и поборникам человеколюбия. Частично это книга о свободе слова – в той мере, в которой обсуждаемые в ней принципы влияют на законы и государственную политику. Но в защиту Первой поправки¹ и так уже написано достаточно. Здесь же я предпринимаю попытку обосновать скорее моральность, чем законность общественной системы производства знания, в рамках которой живым людям часто приходится страдать. Попытку защитить либеральную интеллектуальную систему от крепнущей идеологии, направленной против критики.

Существуют стандартные обозначения либеральных политической и экономической систем: демократия и капитализм. Однако странно, что нет названия для либеральной интеллектуальной системы, область применения которой простирается от истории до журналистики. Поэтому в книге я

¹ Поправка к Конституции США, гарантирующая, в частности, свободу слова. (Здесь и далее подстрочные примечания переводчика, если не указано иное.)

использую термин “либеральная наука” (почему – объясню позже). Сама необходимость придумывать имя для системы “сортировки” идей свидетельствует о том, насколько эта система успешна. Чтобы установились те принципы, на которых базируется либеральная наука, потребовалась социальная революция; при этом сами эти принципы оказались настолько эффективными, настолько выгодными, что большинство из нас принимают их как должное. Мы редко задумываемся об их ценности – так же как и о ценности права на частную собственность или права голосовать на выборах, даже еще реже. Большинство из нас вообще никогда не задумывались о либеральной системе производства знания. И это – дань ее успеху. К сожалению, по этой же причине многие американцы не замечают и нынешней атаки на нее.

О какой же атаке идет речь? Попытаюсь объяснить это следующим образом.

Ключевой вопрос книги таков: каким образом общество должно выявлять и улаживать противоречия между различными мнениями? Другими словами, как правильно – или хотя бы как лучше всего – принимать решения о том, кто прав (то есть обладает знанием), а кто не прав (то есть является просто носителем мнения).

Этот вопрос можно задать очень по-разному, и появляется он на каждом шагу. 10 мая 1989 года газета *The Tennessean* в Нэшвилле написала о том, что член городского совета Джордж Дарден предложил построить посадочную площад-

ку для неопознанных летающих объектов. “Люди сообщают обо всех этих странных существах, которые прилетают к нам в город, а приземлиться им негде”, – заявил он. По его словам, сам он никогда таких существ не видел, но говорил вполне серьезно. “Ведь люди их видят – неужели вы хотите объявить их всех сумасшедшими?” – вопрошал он.

Джордж Дарден не был шутом. Он – ни больше ни меньше – поднимал проблему, которую философы называют проблемой познания: как отличить истинные убеждения от ложных, особенно если носителей первых меньше, чем носителей вторых? И кто должен решать, как это делать? Над Джорджем Дарденом все смеялись, но он заслуживает того, чтобы получить ответ. В конце концов, что должен делать политик, когда его избиратели утверждают, что видели НЛО?

На этот центральный вопрос – как отличить истинные убеждения от искаженных, ненормальных? – существует пять разных ответов. Это пять принципов принятия решений; всего их, несомненно, больше, но сегодня между собой в основном соревнуются именно они.

◆ *Фундаменталистский принцип*: те, кто знает правду, решают, кто прав.

◆ *Простой эгалитаристский принцип*: убеждения всех честных людей равно заслуживают уважения.

◆ *Радикальный эгалитаристский принцип*: схож с простым эгалитаристским принципом, но убеждения людей, принадлежащих к исторически угнетаемым классам или группам, согласно ему, заслуживают

особого отношения.

◆ *Принцип человеколюбия*: допускает любой из вышеперечисленных подходов при главном условии – никому не навредить.

◆ *Либеральный принцип*: единственный легитимный способ решить, кто прав, – это проверка каждым каждого в поле общественной критики.

Главная идея этой книги заключается в том, что последний из принципов – единственный приемлемый, но сегодня он уступает позиции другим, и это очень опасно. Отталкиваясь от мысли, что наука – это подавление, а критика – это насилие, общественное регулирование дискуссий и исследований возвращается к идее благопристойности – на этот раз под прикрытием гуманности. В Америке, во Франции, в Австрии, Австралии и других местах возрождается старый принцип инквизиции: людей с неправильными или вредными взглядами нужно наказать ради общественного блага. Если их нельзя посадить в тюрьму, они должны потерять работу, против них надо развернуть организованную кампанию по очернению, их нужно заставить извиниться, отказаться от своих слов. Если наказанием не может заняться государство, то дело должны взять в свои руки частные организации и группы давления – по сути, линчеватели мысли.

Странно через три с половиной века после того, как Римская католическая инквизиция арестовала и казнила Галилея, писать о новой идеологии, направленной против крити-

ки, и о государственных и общественных попытках ее насадить. Странно использовать такие слова, как “инквизиция” и “линчеватели мысли”. Что же случилось? И почему?

Послушайте две истории о новых вызовах либеральной науке. Одна из них – о справедливости, другая – о сочувствии.

* * *

История о справедливости начинается в прошлом веке², когда незыблемые представления консервативных религиозных сил, наконец, пали под натиском Лайеля, Дарвина, Т. Хаксли и неумолимого развития официальной науки. Бог и Библия с тех пор и надолго были почти полностью исключены из физики и астрономии. Последним их оплотом оставались геология и биология, история Земли и жизни; в конце концов, в Библии мало говорится о законах движения, но достаточно – о сотворении мира и его обитателей. Но даже в науках о жизни и Земле время тех, кто верил в высшие силы, уходило. К 1830-м годам даже такой набожный геолог, как преподобный Адам Седжвик, заявлял, что свидетельств Всемирного потопа не найдено. Седжвик и другие считали, что Библию просто не следует понимать буквально. Они намекали, что Библия подходит только для морального настав-

² Книга впервые издана в 1993 году, поэтому здесь имеется в виду XIX век.

ления, но не для познания окружающего мира.

В 1859 году была опубликована книга Дарвина “Происхождение видов”, и через двадцать лет едва ли хоть один натуралист в мире не поддерживал теорию эволюции хотя бы частично⁹. Но широкой общественности было сложнее поменять свои взгляды. Новый научный консенсус оставил позади миллионы обычных людей. Для христиан-фундаменталистов это был вопрос морали. В 1920-х годах они развернули кампанию за то, чтобы изгнать богопротивный эволюционизм из школ, и к концу десятилетия в четырех американских штатах запретили преподавать дарвинизм, а больше двух десятков других штатов были близки к этому. Среди тех четырех был Теннесси, где законность запрета была поставлена под сомнение в ходе знаменитого Обезьяньего процесса 1925 года. Тогда запрет не сняли, но лидер фанатиков Уильям Дженнингс Брайан, выступавший в качестве свидетеля, был опозорен, пресса высмеивала антиэволюционистов, и к концу десятилетия движение выдохлось. Оно ушло в себя и почти что — хотя и не полностью — кануло в прошлое.

Когда либерально настроенный американец — такой, как я и, возможно, вы, — смотрит на креационистов тех дней, он видит шайку невежественных неандертальцев, идущих против прогресса. Но мы будем несправедливы, если не подумаем о том, насколько должно быть страшно видеть, как втоптывают в грязь вашу священную книгу, а на ее место возводят нечестивого светского идола. Креационисты пытались

защитить свой мир, свое достоинство.

У них ничего не получилось. Но их недовольство не исчезло; оно мучило их, как зубная боль. Креационисты начали понимать, что не просто проиграли битву за превосходство; они проиграли даже битву за то, чтобы их взгляды считались равноценной альтернативой. В 1960-х годах креационизм возродился, но с хитрым дополнением. Теперь, по словам креационистов, это был “*научный* креационизм”: альтернативная теория. Так же как и в предыдущие десятилетия, ученые и интеллектуалы либерального толка со смехом отвергли научный креационизм; практически ни один уважаемый исследователь не готов был поддержать эту идею. Она представляла собой старый библейский сюжет, очищенный от ссылок на Бога и Библию и снабженный всеми возможными лоскутами доказательств – настоящих или вымышленных, – которые удалось собрать. Но широкая общественность оказалась более открытой для новой теории, чем профессионалы. И в 1970-х годах креационисты поняли, за что стоит бороться: за равные возможности в публичной дискуссии для креационизма!

Они доказывали, что эволюция – это такая же религия, как и сотворение мира, и что “наука о сотворении” столь же научна, сколь и “наука об эволюции”. Они даже утверждали, что креационизм более научен, чем теория эволюции. Каждый доказывал что-то свое, но основной посыл был следующим: существует много точек зрения, и мы просто добива-

емя справедливости, возможности отстаивать свою.

Хотя их позицию часто не принимали всерьез, она на самом деле имеет глубокую философскую силу. Наука и скептическое исследование – это один способ познания мира; изучение Библии и обращение к гуру – другой. Если оба способа оставляют пространство для неопределенности (а скептическая наука должна это признать!), то почему бы не преподносить их в школе как две равнозначные альтернативы? Почему один из способов должен иметь привилегии? “Ваше убеждение, скажем, в правильности теории Дарвина в такой же степени основано на вере – вере в науку, – как и мое убеждение в правильности идеи сотворения мира; на каком же основании вы хотите присвоить монополию на правду, если я так же сильно и искренне придерживаюсь своих убеждений, как и вы?”

Таким образом креационисты начали представлять себя в качестве подавляемого меньшинства. “В существующей системе... студентам внушают философию светского гуманизма, – жаловался один типичный креационист. – Авторитаризм средневековой церкви сменился авторитаризмом рационалистического материализма. Конституционные права нарушаются, и свободное научное исследование душится в плену этого догматизма”¹⁰. То же имел в виду и чиновник от образования в штате Аризона, христианин-фундаменталист, когда говорил: если родители объясняют ребенку, что Земля плоская, то учителя не имеют права им возражать. Никто не

имеет права навязывать свое мнение другим, говорили христиане, а идея о том, что человек произошел от более ранних видов, – просто мнение некоторых людей. Да, распространенное мнение; да, мнение экспертов. Но меньшинства тоже имеют свои права, а эксперты могут ошибаться.

В ответ на свою жалобу они получили от интеллектуальной элиты только насмешки. Когда креационист заявляет, что нечто, давно выброшенное на обочину истории, на самом деле – правда о происхождении человека, ему говорят: “Вы ошибаетесь”. Когда он спрашивает: “Что же дает *вам* право задавать стандарты правды?”, ему отвечают: “Просто мы правы, вот и все”. А когда он умоляет ответить, почему его картину мира нельзя представлять хотя бы как равноценную альтернативу, кто-нибудь обязательно скажет ему: “Да ты дурак”. Все это – плохие ответы, высокомерные и нечестные. Довольно глупо притворяться, что справедливо объявлять “неправильными” чьи-то убеждения только по той причине, что интеллектуальный истеблишмент не считает их научными. Если мы – те, кто придерживается дарвинистского взгляда на мир, – настаиваем, что наш подход предпочтителен (а мы должны на этом настаивать), и если это причиняет нашим оппонентам боль или вызывает у них ярость, то у нас должен быть какой-то более весомый аргумент, чем “просто мы правы, а вы ошибаетесь, вот и все”. Если у нас такого аргумента нет, то стыд нам и позор.

Но жалобу креационистов все-таки проигнорировали.

Они проиграли суд в 1982 году, когда Акт о равном отношении к научному креационизму и научному эволюционизму в Арканзасе был отменен федеральным судьей: он постановил, что этот акт способствует незаконному внедрению в государственные школы преподавания закона божьего. Проиграли они и еще один похожий суд в Луизиане, на этот раз в Верховном суде США¹¹. Правда, в решении Верховного суда присутствовало особое мнение двух судей, которые страстно доказывали, что большинство в данном случае действительно притесняет меньшинство. Были и другие признаки ослабления позиций под натиском креационистов, требовавших справедливого отношения. В ноябре 1989 года управление по делам образования в штате Калифорния под давлением христиан-евангелистов приняло рекомендации по составлению учебников, удалив из них указание на эволюцию как на “научный факт”. (Вопрос о механизмах эволюции до сих пор вызывает некоторые разногласия, но то, что эволюция имела место, — *факт* эволюции — принимается большинством ученых, как и все, что установлено наукой.) Из рекомендаций исчезли правдивые утверждения: “Среди ученых нет разногласий по поводу того, что эволюция происходила и продолжает происходить; следовательно, эволюция рассматривается как научный факт” и “Это показывает, что жизнь постепенно становилась все более разнообразной и более старые виды сменялись более новыми”¹².

Такое смягчение ситуации имело свои причины. Спра-

ведливые наблюдатели вынуждены были признать, что креационисты в чем-то правы. Одно дело – доказывать превосходство своей позиции, и совсем другое – ожидать отношения на равных. Почему эволюционная, “официальная”, наука должна быть единственно признаваемой? Сам Рональд Рейган заявил, что если уж мы преподаем эволюцию, то должны преподавать и библейскую историю сотворения мира; опрос общественного мнения выявил, что три четверти населения с ним согласны.

Если бы на этом все закончилось, было бы не так интересно. Но в 1970-е и особенно в 1980-е годы ситуация обрела еще одно измерение. В битве за интеллектуальную “честность” – за эгалитаристский принцип – появилась новая мощная сила.

К 1980-м годам креационисты были уже не одни. Точно такую же логику взяли на вооружение их противники – политические левые. Как насчет позиций меньшинств? Почему их не преподносят хотя бы в качестве альтернативы мужской и европоцентристской мейнстримовой традиции преподавать историю и общественные науки? “Коренные народы утверждают, что были созданы на этой земле, что они произошли из земли, а не из Европы или Азии, – говорил один активист. – Почему бы не дать этим теориям право быть услышанными? Представлять ту или иную теорию как истину и игнорировать религиозные убеждения людей – это расизм”¹³. В 1989 году рабочая группа по вопросам мень-

шинств доложила председателю комиссии по образованию штата Нью-Йорк, что “афроамериканцы, американцы азиатского происхождения, пуэрториканцы/латиноамериканцы и коренные американцы – все стали жертвами интеллектуального угнетения, которое характеризовало культуру и институты Соединенных Штатов и европейско-американского мира на протяжении многих столетий”¹⁴. Даже в разговоре на такие темы, как, например, создание конституции, составители учебного плана должны найти место для рассказа о том, какой вклад в этот процесс внесла каждая из основных этнических групп, – так сочли в рабочей группе¹⁵. До этого креационисты говорили, что тема сотворения человека слишком важна и профессиональные биологи, будучи пристрастными из-за своей принадлежности к светскому гуманизму, не имеют права ее монополизировать. Теперь другие стали говорить о том, что тема конституционного наследия Америки слишком важна для того, чтобы отдать ее на откуп противоречивым историкам, пристрастным по причине своей принадлежности к привилегированной белой расе и мужскому полу.

Здесь мы снова сталкиваемся с обвинениями в том, что позиция науки насаждается, а альтернативные точки зрения подавляются и блокируются. Из-за европоцентричности “образовательные системы штата Нью-Йорк и всех Соединенных Штатов Америки дали старт процессам «неправильного образования», которое надо пересмотреть и поме-

нять”¹⁶. Все больше активистов, защищающих права меньшинств, стали открыто отрицать легитимность господствующего научного и интеллектуального истеблишмента (науку “белых европейцев”). Как сказал один телевизионный продюсер, “афроамериканцы теперь достаточно умны для того, чтобы понимать: при написании истории нас всю жизнь игнорировали. Поэтому мы не ждем одобрения белых ученых, чтобы поверить в правильность выводов, сделанных учеными африканского и афроамериканского происхождения”¹⁷. Итак, у нас уже появились: эволюционная наука, креационистская наука, мужская наука, женская наука, наука белых, наука черных. Примерно в это время люди стали носить футболки с надписью “Это фишка черных. Тебе не понять”.

Так, активисты, защищающие права меньшинств, стали все чаще использовать свою версию аргументов креационистов. Они говорили, что традиционные наука и система образования умалчивали о роли чернокожих в истории – например, об африканском происхождении древних египтян. В мультикультурном учебном плане, принятом в некоторых школьных округах, говорилось, что Африка, особенно Египет, была в античности “мировым центром культуры и образования” и что древние египтяне были черными. Оставим в стороне вопрос о том, почему их цвет кожи должен иметь значение; важно, что здесь использовалось политическое давление для получения хотя бы равных условий для точки зрения аутсайдеров – а это в точности повестка кре-

ационистов. И, так же как и в случае с креационизмом, научная сторона вопроса была спорной. Что касается утверждения, что древние египтяне были чернокожими, эссеист Джон Лео написал, что “обзвонил семь случайным образом выбранных египтологов из разных частей страны, и все семеро сказали, что это совершенная неправда, а потом попросили оставить их комментарии анонимными. «Это слишком взрывоопасный вопрос, чтобы [публично] о нем высказываться», – объяснил один из них”¹⁸. (Не так давно кое-где в Соединенных Штатах биолог должен был обладать определенным мужеством, чтобы прямо назвать креационизм вздором.) Несомненно, количество таких случаев будет увеличиваться, по мере того, как все новые группы интересов будут требовать уважения и внимания к своей версии фактов.

Ситуация усложнилась, когда в спор включились ученые, выступающие за справедливость. Они сформулировали гораздо более сложный довод в пользу эгалитаризма, чем все то, что могли бы придумать креационисты. В общих чертах его можно сформулировать следующим образом.

Человеку свойственно быть пристрастным. Все мы пристрастны и имеем свои предпочтения и интересы, у каждого свой склад ума и своя точка зрения. Но наши пристрастия разнятся. Светское западное представление об объективности, о том, как отличить миф от реальности, распространилось во многом благодаря своего рода империализму – через пренебрежительное отношение к другим традициям, инте-

ресам женщин, выходцев из Африки и Азии и всех, кто не вписывался в культуру мужчин-европейцев. Представитель народа занде, считающий себя колдуном, или народа бороро, утверждающий, что он – красный попугай ара, или христианин, буквально верящий Библии, – все они вовсе не сумасшедшие, а просто меньшинства, жертвы гегемонии научно-го ордена, игнорируемые из-за своей слабости. Наука воплощает в себе мировоззрение белого европейца, и насаждать ее, настаивать на ней, отказываться признавать другие мировоззрения – это форма доминирования. Биологу и теоретику феминизма Рут Хаббард принадлежит фраза, под которой подписались бы многие из размышляющих сегодня на тему знания: “Само притязание на то, что наука объективна, аполитична и свободна от ценностных суждений, в высшей степени политизировано”¹⁹. Это значит, добавляет она, что научный метод “основан на специфическом понимании объективности, который мы, феминистки, должны поставить под сомнение”, – и именно это понимание не в последнюю очередь стало причиной социальной изолированности женщин, цветных людей и других меньшинств. (Она могла бы еще добавить “христиан-фундаменталистов”, но не сделала этого.)

Положа руку на сердце нужно признать, что в этих аргументах есть доля справедливости. Любая система, в рамках которой решается, кто объективно прав, представляет собой социальную систему и соответственно имеет политические последствия. Представители либеральной науки не бро-

сают своих оппонентов в тюрьму, но отказываются уважать их убеждения, а отказать в уважении – значит причинить боль и вызвать негодование. В современных западных странах либеральное, научное понимание знания действительно претендует на единственную легитимность, и это своего рода интеллектуальный империализм – так же как интеллектуальным империализмом была бы претензия любого человека или системы на то, что только они имеют право отличать истинные убеждения от ложных. Любому, кто в этом сомневается, стоит вспомнить о судьбе христианских ученых в современной Америке.

4 декабря 1984 года четырехлетняя девочка по имени Натали в мучениях умерла от инфекции. Болезнь была вызвана обычными бактериями, которые почти всегда можно победить антибиотиками. Однако ее родители не применили антибиотики. Они доверились молитвам. Многим из нас это может показаться абсурдным. Но представьте себе, каково это – пламенно верить в исцеляющую силу Бога. Представьте себе, что ваш ребенок болен и вы хотите использовать самое лучшее лекарство – правильное лекарство, которое с наибольшей вероятностью поможет. Это лекарство – молитва. Во всяком случае, вы так считаете. И вы его используете. “Мы полагаем, что родители выбрали тот метод лечения, который, по их ощущениям, с наибольшей вероятностью должен был помочь ребенку”, – заявил представитель церкви. И был, несомненно, прав.

Однако ребенок умер, а родителей обвинили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи. За последние десять лет в стране произошли десятки таких случаев. В 1990 году двухлетний мальчик Робин умер от кишечной непроходимости после пятидневной болезни; его родителей, Дэвида и Джинджер Твитчелл, обвинили в непредумышленном убийстве и приговорили к десяти годам условно. Мать на фотографиях в газете, сделанных после суда, прижимается к мужу, а он смотрит в объективы корреспондентов. “Если я использую метод лечения, который, по моему мнению, работает, я буду использовать его до конца, – комментировал Дэвид Твитчелл. – Если я сочту, что он не действует, я переключусь на другой метод”²⁰. На его взгляд, он сделал для своего ребенка все, что мог. Те, кто не разделял точку зрения медицинской науки, увидели в суде над Твитчеллами и приговоре им только вопиющее проявление научного империализма. В случаях Робина и Натали молитва в качестве лекарства действительно не сработала. Но антибиотики и операции тоже иногда не дают эффекта. Когда ребенок умирает на операционном столе, нужно ли судить родителей за то, что они перед этим не попробовали молитву?

Такие люди, как Твитчеллы, в полной мере прочувствовали на себе всю силу власти либеральной интеллектуальной системы, которая имеет возможность определять, кто прав, а кто заблуждается. Они знают, каково это – быть проигравшим в научной игре. Расскажите им о том, что либерализм

“толерантен”, и они рассмеются вам в лицо. И действительно – либеральная наука однозначно выступает за свободу убеждений и свободу слова, но *полностью отвергает свободу знания*. Когда нужно понять, эффективен ли тот или иной метод лечения, мы обращаемся к либеральной науке и отвергаем все другие способы разрешить этот вопрос. Вот почему сторонников христианской науки, которые безуспешно лечили ребенка молитвой, обвиняют в непредумышленном убийстве, а родителей, выбравших операцию, даже если она оказалась неудачной, ни в чем не обвиняют. Справедливо ли это?

Если мы не способны найти ответ на эти вопросы про справедливость, если мы не можем обосновать империалистический подход либеральной науки и ее нежелание допустить легитимность других систем, то мы вынуждены признать, что научный порядок в самом деле основывается только на праве сильного. В таком случае мы должны согласиться, что Дэвид и Джинджер Твитчеллы – политические заключенные, осужденные потому, что им и их соратникам по религии не хватило сил или математических выкладок, чтобы навязать обществу *свое* представление о мире. Таков вызов со стороны эгалитаризма.

* * *

Постепенно формировался и еще один вызов. Хотя он

имеет совершенно другие корни, чем вызов со стороны справедливости, смысл его в итоге свелся примерно к тому же. Это – вызов со стороны сочувствия.

В Америке, как и в любой другой стране, всегда были свои ханжи. Генри Луис Менкен³ ехидничал, называя их “пуританами” – людьми, которые “страшно боятся, что кто-то где-то может быть счастливым”. Их излюбленной целью была порнография, которую они атаковали во имя благочестия, а позднее – приличия и семейных ценностей. Их, как и креационистов, стали осуждать и высмеивать в кругах интеллектуальной элиты; но, как и креационисты, они сформулировали сильное глубокое суждение, на которое слишком долго никто не отвечал.

“Пуритане” утверждали, что порнография вредна, так как подрывает моральные устои и таким образом угрожает обществу. Противники же запретов всего непристойного часто указывали на то, что грань между бесстыдством и искусством, срамным и прекрасным даже теоретически провести невозможно. Они отмечали, что, раз такой грани нет, запреты на пошлость рано или поздно коснутся серьезного искусства – именно это в конце концов и случилось с “Улиссом” Джеймса Джойса в Великобритании и США, где власти арестовывали и сжигали тиражи книги.

Но вскоре битвы вроде той, которая разыгралась в защи-

³ Менкен Генри Луис (1880–1956) – американский писатель и журналист. (Прим. ред.)

ту “Улисса” от ханжей, стали выигрывать в либеральных судах. Сегодня “пуритане” то и дело снова выступают с какими-нибудь заявлениями, и так будет всегда. В 1989 году широкое освещение получил процесс над директором Центра современного искусства в Цинциннати, которому вменялась в вину демонстрация гомоэротических фотографий Роберта Мэпплторпа, а в 1990 году участников рэп-группы *2 Live Crew* судили за откровенные и грубые тексты песен²¹. Но к 1980-м годам борцы с порнографией перестали контролировать ход дискуссии; общественное мнение было не на их стороне – может быть, за исключением только тех случаев, когда вопрос касался траты бюджетных средств.

Однако и тут история не закончилась. В основе пуританского морального страха лежала идея о том, что сквернословие и непристойные изображения *травмируют* людей и сообщества. Этот аргумент не исчезал по мере того, как общество все терпимее относилось к порнографии. Он дремал, чтобы затем возродиться с новой силой.

Речь опять шла о порнографии. Но на этот раз атака была более изощренной и инициировалась феминистками, а не ханжами. На идее феминисток стоит остановиться подробнее, потому что вскоре она стала частью более общей картины.

Суть состояла в том, что порнография травмирует женщин, унижая их, способствуя их подавлению, отказывая им в правах. Порнография, как говорила в 1983 году влиятельная

феминистка и исследовательница Кэтрин Маккиннон, “настраивает на жестокость и дискриминацию, которые, в свою очередь, определяют то, как обращаются с половиной населения и какой она имеет статус”²². Это травмирует реальных людей. Вот, например, Мэри С. или Бет В. были изнасилованы и убиты преступником, насмотревшимся непристойностей. И, несмотря на злободневность этих ужасов реальной жизни, традиционалистская система мужской власти защищает право создателей порнографии продавать сцены сексуального насилия и доминирования. Феминистки не могли с этим смириться. Вот, говорили они, еще одно свидетельство того, что патриархальное общество презирает права женщин.

Они начали наступление. Под влиянием Маккиннон и других активистов город Индианаполис принял закон против порнографии, по которому порнография могла считаться видом сексуальной дискриминации. (Позже этот закон признали неконституционным.) К 1989 году похожий законопроект был внесен в конгресс. Если вы стали жертвой сексуального насилия и могли показать связь между преступлением и “конкретным порнографическим материалом”, этот закон давал бы вам право требовать в судебном порядке возмещения ущерба от создателя или распространителя этого материала²³. Если не считать проблем с соответствием такого закона конституции, логика звучала привлекательно: если вас обидели, вы можете подать в суд.

Проблема в том, что конкретных людей насилюют и избивают преступники, а не непристойные фильмы. “Ни одно серьезное исследование не показало причинно-следственной связи между порнографией и насилием в реальной жизни”²⁴. “Согласно датскому докладу, в тех странах, где порнография легализована, количество изнасилований и половых преступлений даже уменьшилось”²⁵. Показать связь между конкретным преступлением и конкретным порнографическим материалом было сложно либо невозможно. Так или иначе, согласно традиционной правовой доктрине, наказывать нужно преступника, а не идеи, которыми он мог руководствоваться, и не человека, который вложил их в его голову. Нужно ли запретить продавать книгу “Моя борьба” из-за того, что какой-то идиот, прочитав ее, убил еврея? Согласно традиционной доктрине – несомненно нет. Точно так же, как не следует запрещать Библию из-за того, что кто-то, прочитав историю о Каине и Авеле, убьет своего брата, или, прочитав: “Ворожеи не оставляй в живых”⁴, лишит жизни женщину, или, прочитав историю пророка Елисея (Цар. 2:24), может казнить плохо воспитанных детей. Запрещать книги или слова, которые вдохновляют психов, – значит позволять худшим из нас определять, что нам можно читать или слышать.

Столкнувшись с этой проблемой, феминистки расширили

⁴ Исх. 22:18.

свою аргументацию; в результате она стала особенно интересна. Речь шла не только о том, что конкретные люди могут пострадать от конкретных преступлений, совершенных под влиянием конкретных непристойных книг или фильмов. Но также и о том, что порнография причиняет ущерб женщинам как группе. “Она наносит ущерб конкретным людям, но не по отдельности, а в качестве членов социальной группы «женщины»”, – говорила Маккиннон²⁶.

С точки зрения феминизма порнография – это разновидность секса по принуждению, практическое воплощение сексуальной политики, институт гендерного неравенства. В этом смысле порнография – не безвредная фантазия или испорченное, искаженное изображение естественной, здоровой сексуальности. Помимо того, что она поощряет изнасилование и проституцию, порнография институционализирует сексуальность мужского превосходства, тем самым перемешивая эротизацию доминирования и подчинения с социальной конструкцией мужского и женского. Гендер имеет сексуальный аспект. Порнография определяет смысл этой сексуальности. Мужчины относятся к женщинам в соответствии с тем, какими они их видят. Порнография конструирует этот образ²⁷

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.